

Гюг Вестбери

Актея



Гюг Вестбери

Актея

«Public Domain»

1890

Вестбери Г.

Актея / Г. Вестбери — «Public Domain», 1890

«На валу Мамертинской тюрьмы стояли молодой человек и девушка и смотрели на римский Форум. Площадь кишела народом. Из толпы доносился глухой гул; временами слышались радостные или жалостливые крики...»

Содержание

Книга первая	5
Часть I	5
I	5
II	8
III	13
IV	16
V	21
VI	24
VII	28
VIII	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Гюг Вестбери

Актея

Книга первая

Часть I

Юдифь

I

На валу Мамертинской тюрьмы стояли молодой человек и девушка и смотрели на римский Форум.

Площадь кишела народом.

Из толпы доносился глухой гул; временами слышались радостные или жалостливые крики.

Форум был самое деловое место на земном шаре, однако там господствовала атмосфера спокойствия и рассудительности. Во времена Нерона еще не привыкли жить второпях – разве слуга спешил за своим патроном, шедшим в сенат, или беспокойные просители поднимались попарно по ступеням базилики.

Но за немногими исключениями римские граждане и их слуги считали утро достаточно длинным, чтобы не торопиться со своими делами.

Молодой человек, стоявший на валу, носил оружие и форму центуриона преторианской гвардии. Ему было лет двадцать. Он был высокого роста, широкие плечи, длинные руки и ноги показывали большую физическую силу. Чисто выбритое лицо с резкими характерными чертами, с плотно, но без всякого усилия сжатыми губами было волевым. Он не мог назваться красавцем; это был общий тип того времени, скорее выразительный, чем красивый.

Дух века еще более, чем суровая дисциплина римского войска, подавлял индивидуальность. Ненадежность существования, падение старой веры, новые учения, отчаянный разврат знатнейших представителей империи – все склоняло мыслящих людей к угрюмому фатализму, который отражался и на их лицах.

Впрочем, молодой центурион вовсе не думал об этих вещах. Равнодушно осмотрев Форум, он повернулся к девушке и зевнул:

– Стоит ли еще дожидаться, Юдифь?

Ни одна римлянка не обладала красотой этой еврейки. Ни у кого в Риме не было такого маленького овального лица, кожи белизны слоновой кости, высокого закругленного лба, тонкого носа с изящным изгибом от лба к подвижным ноздрям, больших блестящих черных глаз. Белая туника с широкими рукавами достигала от шеи до пят. Поверх было надето открытое голубое платье, вышитое золотом на груди и вокруг шеи, спускавшееся сзади до земли и опоясанное широким платком более темного цвета. Черные волосы падали из-под тюрбана мелкими косичками, переплетенными лентами и украшенными подвесками; покрывало из материи, подобной газу, почти такой же длины, как платье, было широко, чтобы завернуться в него в случае надобности. В ушах блестели серьги, шея была обвита ниткой жемчуга, руки украшены золотыми браслетами.

Но прежде, чем Юдифь успела ответить, с крутой дороги, ведущей в Капитолию, послышался гул приветственных криков.

Через несколько мгновений на Форуме показались носилки, которые несли шесть рабов в пунцовых ливреях. Занавеси носилок были отдернуты, так что были видны молодой человек и женщина, полулежавшие на белых подушках.

Голова мужчины была обнажена, на плечи накинута тога из тирского пурпура, которую мог носить только Цезарь. Он весело обмахивался женским веером из павлиньих перьев.

Женщина, сидевшая рядом, еще больше Юдифи отличалась от широколобых, полногрудых римлянок. Она была ослепительно хороша собой, но красива знойной красотой Востока, а не холодного, строгого Севера. Ее волосы, свитые кольцами на голове, были золотистого цвета, но глаза черные, огненные, полузакрытые, с лениво опущенными веками. Белая туника из тонкого шелка гармонировала с розовой кожей. Малиновое верхнее платье, усеянное большими золотыми звездами, было небрежно переброшено через плечо. Ноги ее и императора закрывало вышитое покрывало. Впереди носилок шли ликторы, расчищавшие дорогу.

Когда носилки проследовали мимо, центурион воскликнул:

– Вот правитель мира! – Но, обратившись к сенату, на ступенях которого стояли, разговаривая, двое людей, прибавил вполголоса: – Нет, я ошибся; вот он.

– Он не там и не там, – возразила девушка, и ее голос прозвучал музыкой в ушах молодого солдата.

– Где же он? – спросил он с ленивым удивлением.

– Над небесами. Земля – Его подножие, Его скиния в Салеме, Его обитель в Сионе, – прошептала девушка.

– Скажи-ка это прокуратору Кассию Флору, он живо вытащит его из этой обители, – засмеялся юноша.

Глаза Юдифи наполнились слезами и щеки покраснели.

Центурион, заметив, что обидел ее, поспешил сказать, глядя, на площадь:

– Цезарь остановился у ростры, пойдем посмотрим!

На нижнем конце Форума носилки императора наткнулись на погребальную процессию. Хоронили консула, и похороны были торжественны. Масса народа следовала за процессией и столпилась вокруг ростры, так что ликторы не могли сразу расчистить путь для носилок. Впереди шли барабанщики и флейтисты, за ними группа плакальщиц в белых одеждах, далее – толпа шутов и паяцев. Они смеялись над плакальщицами и перебрасывались шутками насчет умершего сановника с толпой. За ними ближайшие родственники покойного, все в черном, несли тело. Одетое в чистую тогу, оно лежало на носилках из слоновой кости, прикрытое покрывалом с золотым шитьем. Шествие замыкалось семьей и друзьями покойного и толпой в несколько сотен римских зевак, старавшихся убить время до начала игр в честь покойного патриция.

Процессия и жители столпились вокруг ростры, когда носилки Цезаря спускались по Виа Сакра. Тело было положено у подножия трибуны, на которую взобрался оратор, чтобы перечислить подвиги и прославить добродетели покойного. Время от времени его прерывали выходки шутов; всхлипывания женщин заглушались смехом толпы.

Даже ликторы чувствовали, по-видимому, почтение к знатному покойнику, так как расчищали путь для императора с меньшей грубостью, чем обыкновенно.

Как раз в ту минуту, когда носилки готовы уже были удалиться от ростры, оратор воскликнул:

– Он был подобен Катону...

– Как Энобарб Августу! – перебил кто-то из шутов.

Взрыв смеха раздался в толпе, а лицо Нерона посинело. Насмешка попала метко. Нерон не без основания стыдился своего обесславленного отца. Он сделал движение вперед и, казалось, хотел выскочить из носилок, но его спутница схватила его за руку:

– Цезарь! Цезарь!

Он грубо отбросил ее руку. Пурпурное пятно появилось на том месте, где он схватил ее.

– Взять его! Собаки! – крикнул он ликторам, которые бросились в толпу за испуганным шутком.

Толпа заволновалась, плакальщицы подняли крик, оратор сошел с трибуны, родственники с неудовольствием столпились около тупа, и на некоторое время вокруг умершего сенатора поднялось столпотворение.

Между тем двое людей на ступеньках сената продолжали разговор. Один из них был Бурр, пожилой, лет шестидесяти, воин с резкими манерами и загрубевшим от непогоды, но открытым и добродушным лицом. Рядом с ним стоял знаменитый Сенека. Спокойное достоинство его позы и движений было величавым. На лице не проступала римская спесь, и, когда вельможи, проходя в Сенат или из сената, кланялись ему – одни почтительно, другие подобострастно, – он отвечал всем вежливо и дружелюбно. Он был тоже немолод, его коротко остриженные волосы, густые и курчавые, были седые, но тщательно расчесанные бакенбарды и усы – подбородок его был выбрит – еще не покрылись сединой. Резкий, орлиный профиль его смягчался ласковой улыбкой и странным, задумчивым выражением больших карих глаз. Лицо его было скорее печально, чем строго, и в сравнении с грубым лицом солдата казалось дряхлее, чем было на самом деле.

Когда носилки Нерона двигались по площади среди приветственных кликов толпы, Бурр улыбнулся:

– Цезарь приобрел сердце народа, Сенека.

– Ты хочешь сказать – желудки, – возразил Сенека.

Это не было насмешкой, в голосе старика звучало сожаление.

– Да, – продолжал он, глядя на шумевшую чернь, – мы с тобой можем смело сказать это, старый друг. Мы слышали на этой площади такие же крики в честь Калигулы и Клавдия, а потом видели, как их статуи были низвержены и память их подвергалась оскорблениям.

Бурра как будто передернуло. Этот сильный человек чувствовал глубокое почтение к своему другу, но старался скрыть его, принимая покровительственный вид. Он был достаточно умен, чтобы сознать превосходство Сенеки, и оно по временам раздражало его. Сенека не испытал упоения битвы, не был прославленным полководцем. Тем не менее в таком трудном и опасном деле, как воспитание молодого императора, доверенное им обоим, Сенека всегда играл главную роль. Горький опыт убедил воина, что, когда он не мог ничего поделать с Нероном, Сенека легко справлялся с ним. Каким образом человек, которого Бурр мог бы убить ударом кулака, приобрел такую власть, оставалось для него тайной, и к его уважению к другу примешивалось: чувство суеверного страха. Тем не менее их соединяли искренняя дружба и полное доверие; каждый чувствовал, что другой необходим ему в трудном деле, возложенном на них.

В глубине души Бурр так же не доверял характеру молодого императора, как и Сенека, но не в его характере было соглашаться с подобными взглядами.

– Нерон не Калигула и не Клавдий, – ответил он. Старый воин верил собственным аргументам. В эту пору он склонен был думать, что Нерон в самом деле идеальный император. – Ты забываешь, что мы были его воспитателями.

– Укротители тигра, – медленно произнес Сенека, – всегда убеждаются в конце концов, что тигр остался тигром.

– Положим, мать его действительно тигрица, – проворчал Бурр. – Хорошо, что ты заменил ее этой девушкой.

Сенека улыбнулся, а Бурр продолжал:

– Актея умная женщина.

– Когда женщина хороша собой, – возразил Сенека, – трудно сказать, умна она или нет. Пока Цезарь – ее раб, но наступит день, когда красота ее поблекнет, глаза потускнеют; что будет тогда, Бурр?

– Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему, – ответил воин строкой Горация. – Наше оружие блестит сегодня, стоит ли думать о том, что оно покроется ржавчиной завтра?

– Нам-то не стоит, – сказал Сенека, – но Риму и миру очень стоит. Кто ничего не боится, для того нет горя. Мы прожили свою жизнь, Бурр, несколько лишних лет, немного более власти или богатства для нас ничего не значат. Но Рим не может умереть. В какое время приходится нам жить! Судьбы мира зависят от прихоти безумца и власти рабыни.

Бурр начинал чувствовать себя неловко. Стояла такая хорошая погода, Цезарь, казалось, был в духе, и Бурр чувствовал себя в отличном настроении. Но меланхолия товарища невольно передавалась и ему. Он тряхнул головой, как бы желая отогнать это дурное влияние, и направился вместе с Сенекой вниз по ступенькам.

– Семья Гонората, которого сейчас хоронят, – заметил Бурр, – устраивает сегодня игры в цирке. Пятьсот «больших щитов» сразятся с пятьюстами «маленьких щитов». Я пойду смотреть.

Выбор темы для разговора был крайне неудачен, так как Сенека, один среди всех своих современников, всегда осуждал возмутительную жестокость гладиаторских игр.

Потомство, – сказал он, – упрекнет меня во многом, но никогда не скажет, что я поощрял гнусный обычай, который превращает моих соотечественников в зверей.

Бурр, не обращая внимания на слова Сенеки, уже думал о предстоящей битве. Когда они подходили к трибуне, к своему великому удовольствию, он понял, что «маленькие щиты», за которых он стоял горой, одолеют.

Шум между тем вокруг трибуны все увеличивался, и Сенека, заметив в толпе красные livré и услышав бешеные крики Нерона, ускорил шаги. Бурр, который никогда ни от кого не отставал на поле битвы, теперь держался позади.

Сенека пробился сквозь толпу к императорским носилкам.

– Что случилось, Цезарь? – спросил он спокойно.

Нерон отшатнулся, избегая его взглядов, точно школьник перед разгневанным учителем, и в угрюмом молчании откинулся на подушки.

– Дорогу императору! – крикнул Сенека ликторам и, когда носилки тронулись в путь, указал Бурру на пурпуровую полосу на руке Актеи.

– Твой тигр, – сказал он, – может быть укрошен, но умеет и кусаться.

II

Во дворце Цезаря на Палатинском холме была суматоха. День, так хорошо начавшийся, грозил печально кончиться. Нерон пришел в бешенство и страх. Какой-то негодный шут оскорбил его, и благодаря вмешательству Сенеки он ушел невредимым. Затем, когда носилки поднимались на Палатинский холм, орел – по крайней мере, Нерону показалось, что это был орел – сделал круг над дворцом и полетел на запад. В свите императора зашептали, что это отлетел гений фамилии. Наконец, на самых ступеньках дворца один из рабов оступился и чуть не выронил Нерона и Актею из носилок. Правда, в глазах Нерона это было даже хорошо – появилась жертва, на которой можно сорвать гнев. Но все понимали, что наказание ничтожного раба не могло утолить ярость императора, и во дворце чувствовали тревогу.

Все, кроме Актеи.

На улице девушка держала руку так, что всякий прохожий мог видеть синяк. По прибытии во дворец она тотчас ушла в свою комнату, не удостоив императора ни единым словом или взглядом, и бросилась на ложе. Служанки, окружившие ее, хотели замазать синяк мазями и прикрыть пудрой. Но она не позволила. Тогда служанки натерли ей руку каким-то благовонным маслом, поправили платье, подложили под голову подушки и удалились.

Актея лежала, закрыв глаза и подложив одну руку под голову, тогда как другая, больная, лежала поверх покрывала. Спустя некоторое время в комнату вошел Нерон. Она услышала его шаги, и губы ее задрожали. Трудно было определить ее состояние: может быть, это была досада, может быть, радостное торжество.

Нерон велел наказать раба бичами в своем присутствии, и это смягчило его раздражение. В глубине души он стыдился своего поступка с Актеей и побаивался встречи с ней. Во всяком случае, он решил помириться, и для храбрости выпил цекубинского вина, гораздо менее разведенного водой, чем обыкновенно.

Актея лежала не шевелясь, когда он подошел к ложу и взглянул на нее.

Наконец он взял ее за руку. Она отдернула ее и воскликнула, открыв глаза:

– Разве боги сделали меня красивой для того, чтобы ты уродовал меня?

– Я только дотронулся до тебя, Актея, – сказал Нерон со смущенной улыбкой.

– Собака! – воскликнула она. – Твое прикосновение оставило бы пятно на самой Диане!

В самом деле Нерон походил на собаку, которая машет хвостом, когда ее гладят, рычит, если ее толкнуть, и лижет руки тому, кто ее бьет.

Сначала он пытался зарычать.

– Смотри, женщина, – сказал он, – Разве ты не видела крестов с рабами на холме или зверей на арене? Думаешь, меч не просечет твоей кожи, или что у тебя найдется противоядие против снадобья Локусты? Вспомни, раба, что я твой господин.

Актея закинула руки за голову, и грудь ее поднялась и опустилась под прозрачной туникой.

– Великий Цезарь, – сказала она, – соперник шутов и певцов! Храбрый Цезарь, оскорбляющий женщин! Честолюбивый Цезарь, который желает быть и будет бессмертным!.. Тиверий, – воскликнула она, вскакивая с ложа, – был государственный человек, Калигула – вскормлен на поле битвы, Клавдий – грозный император, но ты... ты раб, да, не я, а ты раб своей трусости, раб своих пороков.

В эту минуту Сенека и Бурр вошли в комнату. Лицо Сенеки выражало сильное беспокойство, солдат же смотрел с восхищением на бесстрашную девушку.

Нерон смутился и молча вышел из комнаты.

– Клянусь богами, Актея! – воскликнул Бурр. – Тебе, а не мне следует быть начальником стражи.

– Мужество – добродетель, – заметил Сенека, – но не высшая из добродетелей.

Бурра, видимо, раздражала привычка Сенеки морализировать.

– Я знаю только, что я бы не решился дать такой отпор тигру, – возразил он, – да и ты бы не решился, Сенека.

Сенека уселся на ложе и нежно, как отец, взял руку девушки.

– Актея, – сказал он, – я отыскал тебя среди виноградников и гранатовых деревьев Самоса, чтобы твоя красота избавила Нерона от когтей Агриппины. Дитя, я бы не хотел, чтобы твоя кровь пала на мою голову. Бурр очень ценит мужество, но я больше ценю мудрость.

Никто так хорошо не знал Сенеку, как Актея, и никто так не любил его. Их соединяло еще и то, что только они двое имели действительное влияние на Нерона. Она была обязана Сенеке своим величием, которое ценила больше жизни. Его дружба была для нее опорой, его совет – прибежищем, его участие – утешением.

С улыбкой отвернувшись, Актея взяла из рук служанки шитье и молча сделала несколько стежков. Потом, протянула шитье Сенеке:

– Попробуй окончить узор.

– Не могу, – отвечал он.

– Это так легко.

– Но я никогда не учился вышивать, – возразил он.

– Так есть вещи, – сказала Актея со смехом, – которым даже Сенека может поучиться у женщины.

– Актея права, – заметил Бурр. – Оставь ее, Сенека, она сама сумеет окончить свой узор.

Сенека взял шитье из рук девушки и стал рассматривать его.

– Как мило, – заметил он, – но... – Он сильно дернул нитку и выдернул стежки, которые она только что сделала. – Как непрочно!

Актея слегка покраснела, а Сенека спокойно продолжал:

– Бешенство можно подчинить, но не исцелить бешенством. Пойду попробую сделать стежки покрепче.

Он пошел к Нерону, который в это время оканчивал свой обед. Вино привело его в благодушное настроение, и Сенека воспользовался благоприятным случаем, чтобы прочесть ему нравоучение о безумии и безнравственности гнева.

Сенека имел слабость к проповедям. Он не мог представить себе, чтобы философия и мораль, которые так захватывали его, могли показаться кому-нибудь скучными, и вследствие этого Нерону приходилось переживать много тяжелых Часов.

Сенека влиял на Нерона как воспитатель. Он был снисходительный воспитатель из-за политического расчета. Он давно убедился в неисправимой порочности Нерона и старался только, чтобы его правление причинило как можно меньше зол Риму и миру. Снисходя к частым безобразиям Нерона, он всеми силами удерживал его от вредных правительственных указов и действий. Поэтому он смотрел сквозь пальцы на распущенность императора, даже потакал ей иногда. Но как общественный деятель Нерон в течение многих лет оставался под руководством Сенеки превосходным правителем, справедливым, умеренным и хорошим политиком.

Возрастающее влияние развратной матери Нерона, Агриппины, впервые пробудило в Сенеке сомнение в мудрости его политики. Он слишком поздно убедился, что вверенный его попечению тигренек сделался лукавым зверем, и по привычке педагога принялся прививать ему хотя бы элементарные понятия нравственности.

Изо дня в день Сенека проповедовал, а Нерон дремал, слушая его проповеди.

Временами император воображал, что он и его наставник – гладиаторы на арене: вот он повергает Сенеку наземь, приставляет меч к горлу, и шумная публика дает знак прикончить его, сжимая кулаки и опуская пальцы книзу. В такие минуты улыбка удовольствия мелькала на его лице, и Сенека воображал, что его проповедь достигла цели.

Должно быть, и теперь нечто подобное представилось ему, потому что на лице появилось выражение удовольствия, и, когда Сенека кончил свою проповедь о гневе, он сказал:

– Спасибо, добрый мой Сенека. Я всегда буду помнить, какие бедствия влечет за собой гнев. А теперь, в доказательство моего раскаяния, я пойду помирюсь с Актеей и спою что-нибудь.

Он встал и пошел в комнату Актеи в сопровождении Сенеки и рабов, несших его арфу, зеленое платье, – лавровый венок и позолоченное кресло причудливой формы и отделки.

Подойдя к ложу Актеи, он сказал:

– Я пришел получить прощение.

Она отвернувшись с лукавым кокетством и продолжала говорить с Бурром.

– Неужели ты хочешь видеть Цезаря на коленях? – жалобно произнес Нерон.

- Перед богами – да! – воскликнула Актея.
- Перед богами и перед тобой, чтобы получить прощение.
- Она повернула к нему голову с ленивой негой, говоря:
- Оно твое, если ты заслужишь его.

– Я заслужу его, – воскликнул он весело, обращаясь к рабам, которые поставили его кресло возле ложа Актеи, подали ему арфу, накинули на него зеленую мантию и возложили ему на голову венок. Он был убежден, что не может оказать большей милости и доставить большего удовольствия людям, как позволив слушать свое пение. Он считал, что его пение с избытком вознаградит Актею за синяк.

Голос его был красив от природы, но огрубел от пьянства и беспутной жизни. Он замечательно искусно играл на арфе, обладал тонким вкусом и вкладывал в свое исполнение неподдельное вдохновение. Вообще он был плохой император, еще худший человек, но хороший музыкант.

Актея всегда была рада, когда Нерон пел: она страстно любила музыку, да к тому же в эти минуты с Нероном легко было ладить. Сенека считал музыку безвредной забавой для тех, кто не может придумать ничего, лучшего, а увлечение Нерона – полезной слабостью, благодаря которой его можно направить к чему-нибудь путному. Но мужественный воин Бурр чувствовал величайшее отвращение к тому, что считал унижением для императора. Он рассказывал, что его тошнит, когда видит, как Цезарь бренчит на арфе, точно какой-нибудь жалкий греческий музыкант. Когда Нерон уселся в свое позолоченное кресло и тронул струны арфы, Бурр выскользнул из комнаты.

Раздумывая, что сыграть, Нерон легко перебирал струны. Наконец он выбрал плач Андромахи, когда она видит с троянской стены тело Гектора, которое тащит колесница Ахилла. Он начал с того места, где Андромаха слышит крик Гекубы. Полным звучным баритоном он запел:

И Андромаха из терема бросилась, будто Менада,
С сильным трепещущим сердцем и обе прислужницы следом;
Быстро на башню взошла и, сквозь сонм пролетевши народный,
Стала, со стен оглянувшись кругом и его увидала
Тело, влачимое в прахе; безжалостно бурные кони
Полям его волокли к кораблям быстролетным Ахеян.
Темная ночь Андромахины ясные очи покрыла;
Навзничь упала она и, казалось, дух испустила...

Он пел, и страстная скорбь Андромахи звучала в его голосе. Когда он дошел до того места, где сирота вызывает к друзьям Гектора, слезы брызнули из глаз и голос его прервался. Это не было притворство, это было неподдельное волнение.

Сенека с любопытством следил, за ним и, когда он кончил, разразился громкими аплодисментами.

- Это грустная песня, – сказал Нерон, вытирая глаза рукавом по обычаю певцов.
- Когда он поднял руку, Сенека заметил темное пятно на его одежде.
- Что это такое, Цезарь? – спросил он.
- Нерон взглянул на пятно.
- Ах, негодяй! – воскликнул он. – Его следует еще раз выпороть.
- Сенека взглянул на него вопросительно.

– Одни из носильщиков чуть не выкинул из носилок меня и Актею, и я велел высечь его. Жаль, что тебя не было при этом, Сенека. Он извивался, как червяк, и рычал, как собака, а когда бич опустил, кровь брызнула струйками...

– Зверь! – воскликнула Актея. – Довольно!

Девушка задрожала и побледнела как полотно.

– На тебя сегодня трудно угодить, Актея, – сказал Нерон, нахмурившись.

Вдруг он вскочил, схватил ее на руки и закружился с ней по комнате как бешеный, подбрасывая ее точно ребенка. Потом схватил ее за горло.

– Я мог бы задушить ее, Сенека! – крикнул он. – Она моя, и я мог бы задушить ее, как цыпленка.

Сенека вздрогнул, но Нерон с хохотом опустил Актею на ложе, осыпал ее поцелуями и бросился вон из комнаты.

Он отправился в помещение с бассейном. В комнате, служившей для раздевания, он бросился на скамью в ожидании рабов, которые должны были раздеть его. Это была великолепная комната, окруженная мраморными пилястрами, в промежутках между которыми стены были украшены лучшими образцами греко-римского искусства. Потолок со сводами был разукрашен золотом и слоновой костью, мягкий свет лился сквозь высокое окно с разноцветными стеклами. Под окном находилась скульптурная маска, изо рта которой била струя воды в серебряный бассейн. Массивная серебряная лампа спускалась с потолка, вдоль стен стояли мраморные скамьи. На столе из драгоценного мавританского кипариса красовались золотые и алебастровые фиалы с благовониями и душистыми маслами.

Нерон, бросившись на скамью, еще переводил дух и смеялся, когда занавеска у двери отдернулась и вошел молодой человек, с красивым, но женственным лицом и стройной фигурой.

– А, Тигеллин, добро пожаловать! – воскликнул Нерон. – Что нового? Есть ли какая забава на сегодня?

– Никакой, – отвечал Тигеллин, – разве вот что: сенатор Юлий Монтон отправляется сегодня в Вейн и вечером будет переходить через Мильвийский мост.

– И ты говоришь, никакой! – воскликнул Нерон, вскакивая и хлопая в ладоши. – Какой же тебе еще забавы! Тигеллин, мы подстережем сенатора! Как высокомерно он прикрикнет на нас, когда мы его остановим! Как будет стараться сохранить свою важность, когда мы нападём на него! Знаешь, Тигеллин, я хотел бы, чтобы все они имели одну голову и я бы мог свернуть ее! Ах, это веселит меня!

– Ты что-то задержался сегодня, – сказал Тигеллин.

– Сенека был здесь, – отвечал Нерон, с досадой пожимая плечами.

– Старый зануда! – воскликнул молодой человек.

– Я только велел высечь раба, – сказал Нерон, – и за это он целый час читал мне проповедь. Кроме того, какой-то шут оскорбил меня на улице (лицо Нерона омрачилось), и Сенека позволил ему уйти безнаказанным. Если бы ты был императором, Тигеллин, допустил бы ты такое нахальство?

– Допустил бы я командовать надо мной писаку, школьного учителя, если б был потомком бессмертного Юлия, божественного Августа? – Тигеллин поднял руки в знак немого отрицания. – Нет, – продолжал он, – я бы выбирал в советники молодых, красивых, веселых, блестящих...

– Таких, как ты, – насмешливо перебил Нерон.

Тигеллин слегка сконфузился.

– Ну, – сказал император, – сегодня я чувствую себя медведем. Превратимся в медведей, Тигеллин, и на охоту!

Он кликнул рабов и велел им принести медвежьи шкуры и маски. Надев эти костюмы, молодые люди пустились на четвереньках по комнатам, кусая и царапая несчастных рабов, которых удавалось поймать.

Утомившись, они вымылись и пообедали вместе, причем много ели и еще больше пили. После этого рабы принесли длинные плащи и парики; Нерон и его любимец надели их и, выйдя из дворца, отправились к Мильвийскому мосту.

III

Недалеко от вершины Квиринальского холма стоял простой, но прочной постройки одноэтажный дом. На плоской крыше, над комнатами, выходившими в атриум или центральную залу, был устроен красивый садик. Стены, защищавшие его от посторонних взоров, так же как и беседка, находившаяся в дальнем конце от улицы, были обвиты виноградом. На клумбах росли высокие лилии и розы, окруженные яркими ирисами.

Наступил вечер, яркая луна озаряла сад, когда двое людей, мужчина и женщина, поднялись на крышу из атриума, прошли между цветущими клумбами и остановились у беседки.

Некоторое время они молча вдыхали аромат цветов, разносившийся далеко по улице.

– Не могу понять твоего беспокойства, Юдифь, – сказал мужчина, продолжая прерванный разговор. – Твой отец пользовался милостью Клавдия и заслужил ее. Ему удалось предупредить восстание евреев во время Феликса. Наверное, Нерон не забудет услуги, оказанной Империи.

– Неужели кто-нибудь может ожидать благодарности от гордых идолопоклонников Рима? – пробормотала Юдифь. – Они живут только убийством и кровью.

– Напрасно ты так отзываешься о моих соотечественниках, – возразил воин, – да и своих, ведь ты родилась в Риме, а твой отец римский гражданин.

– Позор сыну Давидову, – воскликнула она, – вошедшему в семью чужеземцев!

– Нет никакого позора, Юдифь, – гордо возразил центурион, – сделаться приемным сыном Рима.

– Может быть, тут нет позора для британского варвара, для несчастного галла, для низкопоклонного грека, для подлого финикиянина, но позор для сына Израиля. Владыка небесных сил, – воскликнула она в страстном порыве, – вел моих отцов, когда лягушки квакали на площадях Рима и волны плескались о его холмы.

Страстные слова Юдифи всегда забавляли и немного раздражали центуриона.

Он понимал, что слова «я – римский гражданин» могли произноситься с гордостью. Он не удивлялся тому, что соотечественники Арминия, разбившего Вара и боровшегося против всей римской силы, могли гордиться своей родиной. Он мог воздать должное и парфянам, завоевавшим Персию, унизившим Армению и отражавшим самих римлян, но иудейский народ, насколько было известно центуриону, не мог гордиться своей родиной. Он был сродни несчастным карфагенянам, похороненным Сципионом двести лет тому назад; он выстроил крепкий город и красивый храм, в котором, как говорили, находилось изображение осла, и, когда он пытался упорствовать в своих смешных и нечестивых обычаях, прокуратору ничего не стоило усмирить его при помощи нескольких центурий. Два-три раза они восставали и защищались с яростью, но, по мнению центуриона, все варвары могли случайно выходить из себя, и он не чувствовал уважения к подвигам восточного фанатизма.

Юдифь гордилась своим происхождением от какого-то еврейского вождя, Авраама, как мог бы гордиться центурион родством с Юлием Цезарем. Отец ее был смирный старик, готовый пресмыкаться перед последним рабом; впрочем, проницательный воин считал это смирение притворством. Как бы то ни было, отцу Юдифи удалось достичь влиятельного положения.

Еврей Иаков, имя, под которым он был всюду известен, подобно многим из своих соотечественников явился в Рим в царствование Тиверия. Рим был важнейшим торговым центром в мире, и Иаков нашел в нем прекрасное поле для своей деятельности. Он торговал драгоценными камнями, продавая их знатным римским дамам. Ему удалось заслужить расположе-

ние императрицы Агриппины, доставив ей драгоценности, которых добивалась ее соперница, Лоллия Паулина. Благодаря влиянию Агриппины он был послан для умиротворения евреев, которые подняли восстание из-за бестактности прокуратора Феликса, а вскоре затем получил право римского гражданства. Деньги, добытые торговлей, он пускал в рост и нажил большое состояние. В то время он был единственным евреем в Риме, жившим за пределами еврейского квартала, кишевшего голодными тряпичниками, разносчиками, резкие крики которых нарушали сон граждан, и нищими, которые собирались обыкновенно на Тибрских мостах, возбуждая сострадание прохожих своим жалким видом и лохмотьями.

Еврей Иаков, агент. Клавдия и фаворит Агриппины, жил в стороне от этого мира. Получив право римского гражданства, он стал избегать общества своих соотечественников и даже не показывался в синагогах. Строгие блюстители еврейского закона называли его отступником и идолопоклонником, но так как всем было известно, что значительная часть его доходов идет на поддержку бедного еврейства, то никто не предлагал подвергнуть его высшей степени наказания – отлучению от синагоги. Набожные сыны Израиля сожалели о своем соотечественнике, клали в карман его деньги и благодарили Бога за то, что они не таковы, как он.

Но Юдифь пылала ревностью к вере своих предков. Отец старался найти ей подруг среди молодых римлянок, но она избегала их. Ему было бы приятно, если бы она носила римское платье, но она нарочно носила еврейскую одежду. В ее глазах последний еврейский нищий был знатнее всех цезарей; она презирала римских идолопоклонников и избегала, как заразы, общения с язычниками.

Тем не менее теперь она сидела с центурионом преторианской гвардии в беседке, обвитой виноградом. Зачем она с ним сидела – этого прекрасная еврейка и сама не могла бы объяснить.

В беседке стояла низенькая деревянная скамья, на которую можно было прилечь, опершись левым локтем на подушку, приспособленную для этой цели. Перед скамейкой находился круглый стол, грубо сколоченный гвоздями, и деревянный стул.

Центурион сидел на скамейке, а Юдифь по другую сторону, стола на стуле. Она охватила руками колени и слегка покачивалась взад и вперед; при ярком лунном свете лицо ее казалось выточенным из слоновой кости.

– Я не боюсь, – сказала она после молчания, – я только предвижу будущее. Лицо Всемо-
гущего отвратилось от моего народа, и черные дни грозят дому моего отца. Стены Сиона были высоки, их охраняли сильные воины, молились жрецы и жертвенный дым восходил к небесам, и все это не спасло от плена. Как же может одинокий старик спасти свою жизнь и имущество в доме чужеземца?

– У тебя есть друзья, Юдифь, – сказал центурион.

– Правда, – отвечала она, бросая на него ласковый взгляд, – но есть опасности, против которых твоя рука бессильна, друг мой.

– Я римский воин, – воскликнул молодой человек, – мой отец носил небезызвестное имя, и я сам имею шрамы от ран, полученных за Рим; моя рука была в силах защитить тебя в Субуре...

– Помню, помню, Тит! – воскликнула девушка. – Я несла еду больным детям в дом раби Каиафы. На душе было тяжело, казалось, что все несчастья, которые приходилось выносить израильтянам, ничто в сравнении с бедствиями, которые обрушились на головы моих братьев и сестер в Риме. Я видела нищету, позор, унижение. Двое братьев, в жилах которых течет кровь пророка Давида и великого царя Соломона, грызлись из-за какой-то кости, точно собаки. Неужели ты остался бы равнодушным, если бы увидел сыновей гордых Цезарей униженными, оборванными, голодными, потерявшими образ человеческий, утратившими все, что приличествует избранному народу, думающими только о крохах, которые можно вытребовать или вымолить у римлянина!

Еврейка опустила голову; блеск ее локонов при свете луны был подобен серебряному шитью на траурном платье.

– Я думала обо всем этом, – продолжала она, – как вдруг какой-то юноша, обвитый гирляндами из роз, бросился ко мне, схватил за руку и стал говорить слова, которые неприлично слушать еврейской девушке. Я оттолкнула его, он упал и закричал, что еврейская колдунья напала на него! Поднялся шум, меня окружили, десятки рук протянулись, чтобы меня схватить. Я взмолилась к Всевышнему, и Он услышал меня и послал избавителя. Это был ты. И, может быть, наступит день, когда сын Давида воссядет на престоле Давидовом, и мир преклонится перед мощью Израиля, тогда римский солдат получит награду за свое мужество.

Молодой центурион как бы сквозь сон слушал эти слова, упиваясь музыкой голоса. Из всего монолога он понял только последнюю фразу и понял так, что ему придется дожидаться награды до тех пор, пока еврей Иаков сделается царем иудейским и поведет еврейские легионы на Рим. Это показалось ему слишком отдаленным, и он встал и сказал с той застенчивой нежностью, которая всегда кажется комичной в рослом, сильном мужчине:

– Я не могу так долго дожидаться награды, Юдифь.

Они вышли из беседки, когда он говорил эти слова. Юдифь взглянула на него с удивлением.

– Каким же образом может еврей вознаградить любимого воина Цезаря? Правда, мой отец богат, может быть, воин желает украсить себя драгоценностями?

Тит никогда не отличался сообразительностью, а теперь был так погружен в свои размышления, что не заметил насмешку в словах Юдифи. Он собрался и решительно ответил:

– У твоего отца есть драгоценность, за которую я готов отдать мою жизнь.

Всякая женщина поняла бы смысл его слов.

Юдифь отступила с удивлением на лице.

Хотя ей нечему было удивляться. Уже не первый раз сидели они в этой беседке, но Юдифь не хотела замечать любовь центуриона и потому сделала вид, что удивилась, услышав признание. Огорчение ее было искреннее. Ее руки задрожали, и некоторое время она не могла выговорить ни слова. Наконец она воскликнула:

– Нет, нет, нет! Этого никогда не будет! Это было бы бесчестьем для тебя и позором для меня!

– Бесчестьем! Позором! – повторил Тит с изумлением. – Юдифь, ты меня не любишь!

Девушка стояла молча и неподвижно, но глаза ее затуманились и краска сбежала с лица. Движением, полным достоинства, она закрыла лицо покрывалом.

Я люблю тебя, Юдифь! – сказал молодой человек, несколько ободрившись. – И если ты любишь меня хоть немного, что может помешать нашему браку?

Несколько мгновений девушка, казалось, боролась сама с собой, но наконец, как будто стыдясь своей слабости, отбросила покрывало и взглянула на воина.

– Я люблю тебя, – сказала она, – да, люблю. Когда я увидела тебя, мое сердце было свободно, но ты овладел им, и оно будет полно тобою, пока не перестанет биться. И все-таки мы не можем соединиться.

– Но почему, Юдифь, почему?

– Дочери царей не выходят за нищих! – воскликнула она. – И дочь Израиля не может выйти за идолопоклонника! Отвергни свои кумиры, преклони колени перед Единым, посоветуйся с мудрецами моего племени, и тогда, быть может...

– Как! – воскликнул центурион вне себя от удивления. – Мне сделаться иудеем, изменить присяге, поклониться иерусалимскому ослу!..

Он не хотел быть грубым и не сознавал, что его слова оскорбительны. Он был римлянин, и мысль сделаться иудеем казалась ему нелепой.

Презрительная улыбка мелькнула на губах Юдифи.

– Конечно, – сказала она, – это слишком великая плата за такую жалкую награду.

Тит не мог понять, что он оскорбил Юдифь как еврейку, но понял, что его презрительный отказ от ее предложения оскорбил ее как женщину. Он поспешно сказал:

– Никакая плата не велика за такую награду, но... но есть вещи, которых даже любовь не может исполнить.

– Ты прав, Тит, забудем об этом, как о мимолетном сне. Это был только сон, потому что я прочла нашу судьбу.

Юдифь взглянула на небо, а Тит повторил вполголоса:

– Прочла нашу судьбу? Скажи, Юдифь, правда ли, что твои соплеменники могут предсказывать будущее? Я знаю, девушки из еврейского квартала часто гадают нашим дамам, но всегда думал, что это только способ добывать деньги.

Юдифь улыбнулась.

– Разве тебе не случалось читать в глазах того, кого ты любишь, то, что тебе хочется знать. Звезды – Глаза Бога, и тот, кто любит Его, может читать в них свою судьбу.

Тит, как и большинство грубых римлян, был суеверен. Он взглянул на Юдифь с некоторым страхом и боязливо прошептал:

– Прочти же нашу судьбу.

С минуту она стояла молча, потом, подняв руку к небу, сказала:

– Я вижу путь, на который мы оба вступили. Смотри! Он широк и прекрасен и озарен блеском благоприятных звезд. Мы еще стоим на нем. Но скоро он разделится: одна дорога моя, другая – твоя. Одна направляется в беззвездную часть неба, другая идет среди красноватых звезд, которые предвещают опасности, войны, пылающие города. Над ней горит небесный залог победы; она кончается у подножия трона. – Голос Юдифи становился все тише и тише. – Я не знаю, которая из дорог моя, которая – твоя. Одно время я думала, Господь освободит свой народ рукой своей рабы, как некогда Он освободил его рукой древней Юдифи. Я думала, победоносное войско пойдет за огненным столбом и сокрушит гордость язычников. Но, быть может, я ошиблась; быть может, мне суждена безвестная и темная дорога, а тебе победный меч и путь славы; быть может, твой народ снова останется победителем и разметет в прах стены Сиона. Наша судьба в руках Господа, и пути Его неисповедимы. Я знаю одно: скоро наши дороги разойдутся.

Прежде чем Тит успел ответить на это, взрыв смеха раздался на улице. Потом послышались звуки отпираемого засова, и через мгновение наружная дверь с треском распахнулась.

Юдифь и Тит поспешили к лестнице; навстречу им выбежали из атриума двое людей. Один бросился на Тита, другой, нетвердо державшийся на ногах, хотел схватить девушку.

Противник воина обладал, по-видимому, большей смелостью, чем силой, потому что центурион без всякого усилия схватил его поперек туловища, поднял на воздух и перебросил через парапет на улицу. Потом он кинулся к его товарищу и сильным ударом ноги сбросил его с лестницы.

Нападавший вскочил на ноги и выбежал на улицу. Тит бросился за ним, не слушая предостерегающих криков Юдифи, и у входных дверей наткнулся на дюжину вооруженных рабов.

IV

На Мильвийском мосту оживленное движение не прекращалось до позднего вечера. Тут можно было видеть рабов, спешивших с письмами от своих господ, живших в виллах, к их городским знакомым; повозки с товарами, приезжих из Галлии, Германии и даже Британии; патрициев, поспешавших в закрытых носилках на любовное свидание за город, солдат, нищих, выпрашивавших мелкую монету.

Но сенатор Юлий Монтан почему-то не показывался. Нерон и Тигеллин беспокойно расхаживали взад и вперед, ожидая каждую минуту увидеть яркие ливреи рабов сенатора и услышать повелительные голоса, приказывающие очистить дорогу для его носилок. Нерон был в восторге от предстоящей забавы. Он условился с Тигеллином о роли каждого. Нерон должен был схватить жену сенатора, а Тигеллин бросить в Тибр, его самого. Тигеллин привык к такому разделению труда, благодаря которому на его долю доставались побои, тогда как император срывал поцелуй. Впрочем, он был по-своему философ, понимая, что путь славы всегда усеян шипами, и надеялся, что рано или поздно наступит день, когда он будет получать поцелуи, а кто-нибудь другой – удары.

Когда наступила ночь, а жертва еще не показывалась, веселость Нерона исчезла. Он злился на Тигеллина за обман и говорил, что заставит его биться с Спициллом, знаменитым начальником рециариев – гладиаторов, вооруженных трезубцем и сетью, которую они старались набросить на противника. Эта мысль снова развеселила Нерона.

– Это будет прекрасное зрелище, Тигеллин, – говорил он. – У тебя длинный щит, от которого твоя левая рука скоро устает. Спицилл выступает против тебя с трезубцем, и каждый удар его повергает тебя в озноб. Наконец ты приходишь в бешенство, твои глаза горят, лицо наливается кровью, сердце бьется, голова кружится, Пена выступает на твоих губах, ты замахваешься кинжалом и бросаешься на Спицилла; но он ожидал этого, подобно внезапному ливню из грозовой тучи; летит его сеть, она обвивает тебя, твои руки и ноги запутались, ты падаешь – тогда светлый и блестящий как молния трезубец рассекает воздух и... Ах! Бедный, как мне жаль тебя!

И Нерон, увлеченный живописью собственного воображения, зарыдал над гибелью друга.

Тигеллин привык к причудам Нерона и вовсе не думал, что его царственный покровитель всерьез намерен заставить его биться в цирке. Тем не менее подробности картины, нарисованной Нероном, действовали на него очень неприятно.

В эту минуту на мосту показался худощавый, длинноногий юноша в коричневой тунике, с деревянными табличками в руках. Это был посол с письмом.

Тигеллин, обратившись к императору, сказал:

– Этот молодой человек очень торопится, Цезарь.

Нерон ответил взглядом, показавшим, что он понял намек, и немного отошел от своего собеседника, так что мальчик должен был пробежать между ними. Едва он поравнялся с ними, Тигеллин подставил ему ногу, а Нерон сильно ударил по левой руке. Таблички упали, и бедняк растянулся на мосту. Прежде чем он успел опомниться, двое грабителей схватили его и перебросили через перила в Тибр. Было невысоко и недалеко находилась мель, так что если он умел плавать, то мог спастись. Впрочем, Нерон и Тигеллин не интересовались его дальнейшей участью.

Нерон схватил таблички и принялся рассматривать их, когда на реке послышались крики о помощи. Очевидно, мальчик доплыл до мели. Нерон и Тигеллин пустились бежать; за ними на некотором расстоянии следовала толпа вооруженных рабов, без которых император не пускался на ночные подвиги, после того как несколько раз подвергался опасности, а однажды едва ушел живым.

Пробежав немного по Фламиниевой улице, они свернули в узкий переулок, ведущий на вершину Пинцийского холма, и скоро скрылись из виду в зеленых садах, раскинувшихся на холме и по его склонам. Поднявшись на холм, они спустились в долину между ним и Квириналом к великолепному саду Саллюстия.

Тут, задыхаясь и изнемогая от усталости, Нерон бросился на траву под густой изгородью из остролиста, а Тигеллин сел рядом. Один из рабов имел при себе бутылку вина и в ответ на свист Нерона подошел к ним и подал два кубка с цекубинским.

Отдохнув и освежившись, Нерон взял таблички и внимательно осмотрел их при ярком свете луны. Таблички состояли из двух половин, сложенных вместе, и письмо было написано на воске. Они были обвязаны красной ниткой, узел которой скреплен восковой печатью. Адрес, по-видимому, был написан углем.

Нерон повернул таблички так, чтобы свет падал на печать. Вдруг он отбросил их, вскрикнув как ужаленный.

– Не укусила ли тебя змея, Цезарь? – воскликнул Тигеллин, вскакивая в беспокойстве.

– Нет, – ответил император, поднимая таблички и боязливо держа их за уголок, – это письмо от Сенеки, его печать! – И бросив опять письмо, он прибавил со стоном: – Письмо к Бурру.

– Только-то? – засмеялся Тигеллин.

– Только-то? – повторил Нерон полутгневно-полусмущенно – Только-то! Да разве этого мало?.. Да что! Я лучше согласен драться с шестью александрийскими крокодилами, которых завтра выпустят в цирке против шести нумидийских львов, чем слушать проповедь, которую Сенека прочтет мне завтра за мои сегодняшние похождения. О! Мне кажется, я уже слышу его. И Нерон, передразнивая важный и медленный испанский акцент Сенеки, повторил: – Тот, кто любит зло, уподобляется бешеному зверю. Пьяный делает многое, чего сам устыдится в трезвом виде. Можно положить предел пьянству, обжорству и – сребролюбию, но жестокость заставляет молчать самую философию. Как может правитель ожидать добра от подданных, если сам подает им пример разврата? Отвратительно и безумно вечно неистовствовать и убивать!

Нерон катался по траве, повторяя афоризмы своего наставника и проклиная Сенеку, Тигеллина, письмо и свою неосторожность.

Тигеллин смотрел на него с презрительным сожалением.

– Что же ты думаешь предпринять, Цезарь? – спросил он.

Не отвечая на вопрос, Цезарь продолжал передразнивать Сенеку, пересыпая его афоризмы своими проклятиями.

– Мстительность – болезнь ничтожной души!.. Клянусь Геркулесом, я хотел бы видеть его на кресте! Дурные слова, как стрелы на взлете: они бьются о нашу броню, но не пробивают ее. Будь ты проклят, Тигеллин! Ссоры недостойны благородного духа. Хоть бы перуны Юпитера сожгли проклятое письмо! Доброе сердце ничему не желает зла! Собака, – вдруг повернулся он к рабу, – ты пролил вино, смотри, чтобы я не пролил твою кровь!

Тигеллин почувствовал к Нерону искреннюю жалость. Он приподнял Нерона, усадил его и сказал:

– Цезарь, мы не можем оставаться здесь всю ночь, вставай и пойдем домой. Дай мне письмо. Я pošлю его Бурру, ничего умнее не придумаешь.

Нерон встал и в припадке пьяной веселости взмахнул табличками и запустил их в Тигеллина. Тот поймал письмо на лету и, отдав его рабу, велел беречь как зеницу ока. Затем они поднялись на Квиринал и молча направились по улице. Проходя мимо дома еврея Иакова, Нерон услышал возбужденный голос Юдифи, доносившийся с низкой крыши. Новая затея мелькнула в его пьяной голове, и, вырвавшись из рук Тигеллина, он подбежал к двери, просунул стальную отмычку между ее створками с ловкостью профессионального мошенника и ловким поворотом отворил засовы. Лунный свет, попадавший в атриум, указывал дорогу; они взбежали по лестнице в сад, и минуту спустя Тигеллин полетел на улицу, а Нерон, скатившись с лестницы, обратился в бегство, призывая свистом своих телохранителей.

Юдифь с первого взгляда узнала в нападавшем молодого человека, которого она видела утром в носилках на Форуме. Но Тит, взбешенный оскорблением, которое какой-то негодяй осмелился нанести Юдифи, не обращая внимания на ее крики, пустился за беглецом, успел дать ему несколько тумаков вдогонку и в сенях наткнулся на рабов. Двое из них покатались

на пол под ударами железных кулаков центуриона, третий, огромный нубиец, по-видимому, начальник отряда, получил удар ногой под колено, от которого отлетел шаг на десять. Если бы Тит был так же благоразумен, как смел и силен, он легко мог бы укрыться в доме, потому что рабы попятнулись перед кулаками, которые, казалось, могли убить быка. Но центурион вовсе не думал об отступлении, он во чтобы то ни стало хотел наказать наглеца, оскорбившего Юдифь.

Нерон, выбежав на улицу, остановился на безопасном расстоянии. Увидев, что рабы отступили, он разразился ругательствами и угрозами, приказывая схватить молодого воина. Услыхав его голос, Тит с бешенством бросился на рабов, свалил еще нескольких, когда тяжелый удар в голову, нанесенный сзади, поверг его на землю без чувств.

Тигеллин, брошенный с крыши, сильно ударился, но кости его остались целы. Он лежал на улице, растирая ушибленные места, проклиная императора и свою неудачу, пока рабы тщетно старались схватить центуриона. Последний обернулся к нему спиной, и лежавший в тени дома Тигеллин не мог быть им замечен. Видя, как рабы валились под ударами взбешенного воина, он почувствовал облегчение и втайне надеялся, что и Нерону придется испытать силу рук, сбросивших его, как ребенка, с крыши.

Но когда рабы уже готовы были обратиться в бегство, Тигеллин увидел недалеко от себя лом. Он быстро сообразил, что император будет более благодарен за помощь, оказанную временно, чем после того как получит трепку от центуриона, и, собравшись с силами, встал, схватил лом и, подкравшись сзади к центуриону, нанес ему удар по голове.

К счастью для Тита, Тигеллин отличался скорее изобретательностью в безобразных потехах, чем физической силой. Тем не менее удар был настолько силен, – что центурион лишился чувств. Рабы немедленно связали его.

Нерон, почти протрезвевший от испуга, подошел к месту драки.

Император сознавал, что роль его была не из славных, и, чтобы скрыть смущение, приняв вид величественного достоинства и толкнув ногой центуриона, воскликнул:

– Он надавал мне пинков, Тигеллин. Он должен умереть!

Тигеллин чувствовал уважение к закону: это была одна из самых замечательных черт римского характера. Совершенный бездельник, гуляка и буян – он принимал без рассуждений традиции римской администрации и преклонялся перед решением самого мелкого должностного лица. Он знал, что вытолкать из своего дома нахала не считалось уголовным преступлением, и он, который собирался бросить в реку сенатора, был смущен при мысли о незаконном убийстве неизвестного человека на улице.

– Он заслуживает смерти, – сказал он уклончиво.

– И будет казнен, – прибавил Нерон.

– Конечно, – возразил Тигеллин, – когда суд разберет его дело, то найдет его достойным смерти.

– Суд! Дело! – закричал Нерон. – Дурак! Кто я, Цезарь или разносчик? Я тебе говорю, что он поколотил меня, и я велю его сечь, пока он не лишится чувств, а затем отрубить ему голову.

– Мы не знаем еще, кто он такой, – отвечал Тигеллин, – торопиться, во всяком случае, ни к чему.

– Вынесите его на свет! – крикнул Нерон рабам.

Они тотчас вытащили центуриона на освещенное луной место.

Император наклонился к нему и радостно воскликнул:

– Посмотри, посмотри, благоразумнейший и осторожнейший Тигеллин!

Любимец взгляделся в бесчувственное тело.

– Центурион! – воскликнул он.

– Да, центурион, – сказал Нерон, – а я император! Я сегодня же отомщу ему.

Тигеллин знал, что Нерон как император пользовался неограниченным правом жизни и смерти над воинами, и все его возражения отпадали сами собой. Но, взглянув еще раз на воина, он сказал:

– Цезарь, это центурион преторианской гвардии, сечь его было бы неблагоприятно.

Сила и гордость преторианской гвардии уже в эти ранние времена Империи являлись источником постоянного беспокойства для гражданских властей, и Нерон не был сумасброден настолько, чтобы возбуждать против себя это буйное и непокорное войско.

– Преторианец! – повторил он угрюмо. – Несите его в Мамертинскую тюрьму.

Тут им внезапно овладел порыв. Он схватил за руку Тигеллина и зашептал:

– Нет, лучше мы не будем сечь его. Но правосудие должно быть удовлетворено, кто-нибудь должен быть высечен. Счастливая мысль! Мы отрубим голову этому воину, а высечем тебя. Ни слова, Тигеллин, не нужно благодарности. Я знаю, что ты будешь рад оказать эту маленькую услугу своему другу! Что значит боль и самая смерть для нас, римлян, когда государство, правосудие, дружба взывают к нам! Ты счастливiec, я сделаю тебя бессмертным. Лукан прославит твой героизм в поэме. Ты великий, Тигеллин! Тебя будут восхвалять поэты и прославлять историки! В память о тебе будут воздвигаться статуи, потому что ты отдашь себя на бичевание, чтобы удовлетворить правосудие и утолить месть друга.

Тигеллин понимал, что это шутка, но Нерон обладал способностью воспроизводить картины с такой живостью, что у его друга мурашки забегали по телу. Он поспешил подделаться под тон императора и с комической смесью достоинства и пафоса промямлил стих Горация:

– Сладостно и почетно умереть за родину.

Нерон любил дурачить своих подчиненных, заставляя их думать, что сам одурачен ими. Он вздохнул, покачал головой и отвечал:

– Правда, Тигеллин, очень приятно и достойно, но умереть – это еще немного: удар меча или львиной лапы... мгновение – и все кончено. Гораздо славнее подставить свою спину бичам! Мы часто видели, как это делается. Жик-жик-жик... Тяжелый бич свистит в воздухе, падает на спину, брызжет кровь, разрываются кожа, мясо, жилы! Вопли, корчи, агония!..

У Тигеллина душа ушла в пятки. Он не раз сам присутствовал при бичевании рабов.

Нерон заметил ужас любимца и постарался скрыть свое удовольствие.

– Да, Тигеллин, – сказал он, – я завидую твоей славе, друг мой; один удар, бича стоит двух смертей, но и сотни ударов недостаточно, чтобы отомстить за побои, нанесенные потомку божественного Августа. Но я не только справедлив, я милосерден. Довольно будет сотни ударов.

Тигеллин, не в силах выносить далее шутки императора, попросил вина. Он подождал, пока один из рабов, несших бесчувственное тело Тита, налил и подал ему кубок.

Нерон так был доволен своей шуткой, что развеселился и хотел было приказать рабам отнести центуриона назад, к дому еврея Иакова.

Тигеллин горячо поддерживал его, понимая, что если воин будет пощажен, то и его спина останется невредимой.

Но Цезарь не хотел испортить свою шутку ради десяти центурионов, и боязливая горячность любимца только, заставила его повторить рабам приказание отнести тело в Мамертинскую тюрьму и оставить там для казни на следующий день.

Молодые люди пошли во дворец, и Тигеллин, видя, что Нерон еще не оставил мысли о бичевании, решился на последнее Средство. Он уговорил императора приналечь на неразбавленное вино в надежде, что тот напьется и забудет о своем намерении.

Когда первые лучи восходящего солнца уже проникали в окна и лампы чуть-чуть отсвечивались на золотых кубках, Нерон в залитой вином тунике лежал без чувств на шелковых подушках.

Тогда Тигеллин оставил его.

V

Когда Тит бросился за Нероном в атриум, Юдифь последовала за ним, тщетно умоляя вернуться. Она видела, как рабы императора бросились на молодого человека, и с замирающим сердцем, не зная, что делать, ожидала исхода этой драки, спрятавшись за каменным бассейном в центре залы. Когда все исчезли на склоне улицы, она побежала вверх к отцу и разбудила его.

Спальня Иакова находилась в задней половине дома, защищенной от жары утреннего солнца. Его рабы помещались тут же. Появление Нерона и последовавшая затем схватка сопровождалась сравнительно небольшим шумом, так что никто из домашних не проснулся.

Иаков с испугом вскочил, но, узнав дочь, сонно спросил, что ей надо.

Когда Юдифь со слезами рассказала ему, в чем дело, умоляя спасти юношу, то Иаков дернул за колокольчик, и через несколько мгновений вошел молодой раб-сириец.

– Разбуди сейчас же привратника, – распорядился Иаков. – Какие-то сорванцы ворвались в дом; вели ему запереть засовы покрепче.

Юдифь задрожала от нетерпения.

– Ну, что ж, – сказала она, – встанешь ты наконец?

– Ты слишком молода, дитя мое, – отвечал Иаков. – Твой молодой друг все равно лишится головы, а я постараюсь сберечь свою ради твоей же пользы.

– Трус! – воскликнула Юдифь. – Этот молодой человек рисковал своей жизнью ради твоей дочери, а ты не хочешь пошевелить пальцем для его спасения.

– Если б, пошевелив пальцем, я мог помочь ему, – сказал Иаков, поднимая свою руку, – я бы с удовольствием пошевелил всеми десятью, но я не знаю, что еще я могу сделать.

– Ты пользуешься милостью императрицы-матери, – вскрикнула Юдифь, – ступай к ней, проси ее заступничества.

Правда, – отвечал еврей, – я когда-то продал бриллианты блистательнейшей госпоже Агриппине за очень умеренную цену... И, – прибавил он с умильной улыбкой, – может быть, много лет тому назад я заслужил ее милость иными средствами. Но Агриппина не станет вмешиваться в государственные дела ради меня.

Юдифь металась по комнате.

– Неблагодарный, жестокий, – рыдала она, – ты лжешь. Разве не говорят в Риме, что твое слово имеет силу, в доме Цезаря?

Иаков развел руками в знак скромного отрицания.

– Если ты не жалеешь его, то пожалей меня. Не допусти отнять у меня защитника. Я тебе говорю, что этот пьяный боров, которого римляне называют своим императором; схватил меня и хотел унести...

Иаков облокотился на локоть и отвечал:

– Властитель мира, отпрыск божественного Августа, трижды славный Нерон удостоил взять тебя на руки... Что ж, дитя мое, значит, ты красивее прекрасноволосых гречанок.

На мгновение ее лицо исказилось, и тонкие пальцы судорожно сжали рукоятку маленького кинжала, который она носила за поясом.

– Клянусь Богом Авраама, – сказала она низким голосом, и голос зазвучал мрачной силой, как нестройные звуки органа. – Счастье твое, что ты научил меня звать тебя отцом. Но ты солгал, низкий трус! Я отрекаюсь от тебя! Я ненавижу тебя!

Она бросилась вон из комнаты, а Иаков снова улегся, приговаривая вполголоса:

– Отче Авраам! Что за таинственное существо женщина! Императрица Агриппина, владычица мира, увлекается евреем, немолодым и некрасивым. А еврейская девушка, прекрасная, как Савская царица, приходит в бешенство из-за того, что император, властелин мира, вздумал

сорвать поцелуй. Да самый мудрый Соломон не мог бы разобрать их затей, а я... я так мудр, что не стану и пробовать разбирать.

И он спокойно заснул.

Юдифь бросилась в сад, вбежала в беседку, кинулась на скамью, где сидел центурион, и спрятала лицо в подушках.

– О, мой милый, – рыдала она, – как бы я хотела умереть за тебя. – Она подняла лицо, орошенное слезами, и стала громко молиться – Отец, жалеющий своих детей, пожалей меня! Ты обитаешь высоко, среди херувимов! Мы не можем достигнуть Твоего престола. Но Ты наше прибежище и сила. Я не прошу ничего для себя, только помоги ему!

Юдифь не только верила, но и чувствовала присутствие Бога. Щеки ее разгорелись, когда она произносила молитву. Она с отчаянием закрыла лицо руками и воскликнула:

– Господи, прости мне. Ты знаешь, как я люблю его. Я боролась, я молилась, но я женщина, и я люблю его.

Она встала и устремила пристальный взор в небо.

– Там написано, – сказала она. – Я и теперь читаю: на одном пути тьма, на другом – слава и долгие дни... Мы не можем, как он мечтал, идти рука об руку... Да я и не хочу, если б это даже было возможно. – Дедушка гордо выпрямилась. – Потому что кровь Давида не может смешаться с кровью язычника.

– Да, – сказала она со вздохом, – я люблю его. О, пусть дорога тьмы будет моею, а его – путь славы.

Внезапно Юдифь вздрогнула.

«Что я сказала? – подумала она. – Я, которая мечтала об исполнении надежды Израиля, читала в небесах обещание Всевышнего, слышала в бессонные ночи, как гремели трубы Господа и римские стены рассыпались в прах, я пожертвую искуплением моего народа ради любви к римскому воину».

Измученная волнением, она прислонилась к стене беседки, и голова ее опустилась на грудь.

– Я слышала, – сказала она наконец, – что некоторые из иудеев учат, будто Бог есть любовь; быть может, Он понимает и прощает. Даже язычники преклоняются перед силой любви. Сенека, говорят, писал, что любовь сильнее ненависти... Сенека!.. – почти вскрикнула она и бросилась через сад в атриум, оттуда в свою комнату. Надев выходное платье, она снова поднялась в сад и, усевшись в беседке, стала ждать.

Луна исчезла, в саду стояла тьма, которая всегда предшествует рассвету. В городе было тихо. В Субурском предместье, где огни еще светились в окнах и двери были убраны зелеными ветками, еще раздавались звуки веселья, но они не достигали спокойной улицы Квиринала, где ждала Юдифь. Только с улицы порой слышались тяжелые шаги стражи, по и они вскоре замирали внизу, у подошвы холма.

Юдифь долго сидела и ждала; наконец тишина прервалась пением какой-то птицы. Юдифь взглянула на небо: на востоке появилась серая полоса. Казалось, Рим пробуждается. Воздух наполнился щебетанием воробьев. Потом послышались чьи-то поспешные шаги на улице. Прошли двое людей, смеясь и разговаривая; закричал разносчик; в одном из домов привратник уже отворял дверь. Звуки сменялись звуками и наконец слились в общий гул и ропот пробудившегося города.

Слуги собрались в атриуме; привратник, старый, хромой еврей, которого Иаков купил из сострадания, осматривал дверь и указывал рабам на повреждения.

– Святые ангелы да защитят нас! – сказал он. – Какой беспокойный, дерзкий народ эти римляне! Два железных болта и дубовый засов разлетелись, точно узы Самсона, я когда-нибудь расскажу вам эту историю, и все из-за шеклей нашего доброго господина. Ах, жадность, жадность, она заставила Ахана прикоснуться к проклятой вещи, и, что хуже всего, из-за нее теперь

никто не бросит камнем в наших Аханов. Но я забываю, – пробормотал старик, – что языческие свиньи ничего не знают об этом.

– Ты думаешь, это были воры? – спросил поваренок, забежавший сюда из кухни, где уже готовили стряпню.

– Воры? – повторил старик. – Кто же еще станет врываться ночью в дом богатого человека?

– Ну, мало ли кто? – заметила с усмешкой старая, дряхлая рабыня. – Может быть, кто-нибудь приходил поболтать с Хлоей? – И она указала на одну из горничных Юдифи, стоявшую позади толпы.

– Старая бесстыдница! – воскликнула девушка, вспыхнув.

– А то еще, – продолжала старая ведьма, – когда я была девушкой, а императором был старый Август – я хочу сказать божественный Август, – я служила у жены сенатора Кая Мнеста, и к нам часто заглядывали «воры»; только вот что странно: они никогда не приходили, когда моя госпожа с дочерью были на своей вилле в Байи.

– Так ты думаешь... – воскликнули все в один голос, и толпа расхохоталась.

– Нет, – сказал наконец поваренок, – я не верю этому, она так добра.

– Ха! Ха! – засмеялась старуха. – А откуда ты знаешь, что она добра?

– Я думаю, что она слишком горда для этого, – сказал старый раб, подметавший сени. – Она горда, как Минерва, и холодна, как Диана. – Конечно, – повернулся он к старухе, – я не говорю, что ты лжешь, но уверен, что она ничего не знает об этих вещах. Гордость заставляет ее носить свое странное платье и...

– Гордость? – подхватила Хлоя с насмешливой гримасой.

– Ну да, гордость, а то что же? – отвечал старик.

– Тщеславие, глупый! – возразила девушка. – Она ведь не весталка, которые обязаны носить свою одежду. Почему же она так одевается? Просто потому, что это больше бросается в глаза: молодые люди оглядываются на нее и говорят: какая красавица!

– Сомневаюсь, – сказал старик, а поваренок воскликнул, обращаясь к девушке;

– Ревнивица!

Вместо ответа он получил довольно увесистую затрепину.

– Ты тоже, – сказала она полусмеясь, полусердито, – заглядываешься на ее черные глаза и пунцовые губы; только, милый мой, она слишком горда, чтобы связаться с поваренком, а главное – место уже занято! Вообще она самая покладистая девушка в Риме, но теперь на нее ничем не угодишь. Начнет причесываться, никак не может убрать волосы; наденет платье, потом другое, не знает, что ей лучше идет – жемчуг или рубины. Тоже, думает, красиво: жемчуг на темной коже! Мы знаем, что это значит, недаром же к ней повадился какой-то молодчик-центурион, гуляют по ночам в саду, болтают в беседке до утра. Я ничего худого не говорю...

– Молчать! – крикнул привратник, дрожа от гнева. – Он прислушивался к болтовне рабов, но почти ничего не слышал и еще меньше понимал и только благодаря громкому голосу девушки разобрал, в чем дело. – Собаки! Свиньи! – кричал он старческим, разбитым голосом. – И вы смеете осквернять мерзкими устами имя царевны из дома Давидова! Я вас! – И, подняв дрожащей рукой тяжелый засов, он замахнулся.

Не столько испугавшись, сколько развеселившись от этого внезапного взрыва, рабы бросились в стороны, но вдруг в неподдельном ужасе рассыпались по углам: между ними величественно прошла Юдифь. Она не удостоила взглядом никого, даже привратника, который поклонился почти до земли.

Сидя в беседке, она слышала злословие рабов. Но их болтовня не имела в ее глазах никакого значения. Их отзывы, дурные или хорошие, затрагивали ее не больше, чем лай собаки на улице. Правда, когда рабыня упомянула о встречах в саду, она слегка вспыхнула – не от стыда, потому что ей было безразлично, как объяснит девушка ее отношение к Титу, но эти слова

пробудили воспоминания, и кровь на мгновение прилила к лицу. Она встала, оправила свое голубое платье, спустилась в атриум, прошла среди испуганных рабов и пошла вниз, по улице. Она шла быстрыми шагами, не замечая окружающей суеты. Когда она проходила по узким улицам Субуры, день был уже в полном разгаре. В лавках шла оживленная торговля. В низенькой таверне толпились посетители. Хозяин, подозрительного вида малый, черпал какую-то горячую жидкость из котла, стоявшего над огнем, и разливал ее посетителям, которые с очевидным удовольствием потягивали напиток. Над прилавком висела вывеска с грубо намалеванным петухом. Напротив таверны какая-то женщина расположилась с тележкой, наполненной овощами, и пронзительным голосом нахваливала свежесть и дешевизну своего товара. Немного далее хлебопек молот муку на маленькой ручной мельнице, и его кирпичная печка разливала теплоту на улице. Далее валяльщик с босыми ногами выжимал грязное платье в чану с мыльной водой; один из его помощников чистил одежду, обшитую пурпуром, другой зажигал серу под тогой, повешенной на станке, устроенном в виде улья; женщина, сидевшая в сторонке, чинила разорванное платье. В следующей лавке цирюльник с подвязанной в виде фартука туникой стриг одного из посетителей. Другие сидели на прилавке и скамьях, смеясь и болтая о вчерашних скандалах. Несколько человек с важными лицами виднелись в книжной лавке, просматривая тома и перелистывая пергаменты. Далее попадались плотники, кожевники, мясники, сапожники, ювелиры. Но Юдифь проходила мимо, не замечая никого.

Прохожие останавливались, оглядываясь на красивую девушку, которая шла как бы в забытии, что-то шепча. На минуту она остановилась у жалкой, полуразвалившейся таверны. Она помнила, что здесь ее спас Тит, здесь упал пьяный язычник, здесь ее окружила толпа, здесь протянулась для защиты сильная рука.

Наконец она вышла к храму Согласия; перед ней расстился оживленный Форум, налево возвышался вал Мамертинской тюрьмы, где они стояли с Титом, ожидая выхода императора. Закутав лицо покрывалом, она прислонилась к стене, присматриваясь к лицам сенаторов — недостойных потомков славных людей, поднимавшихся по ступенькам сената.

Полчаса прошло в томительном ожидании. Она продолжала стоять неподвижно, вглядываясь в лицо каждого сановника в окаймленной пурпуром тоге. Наконец она заметила высокую фигуру Сенеки, рядом с ним шел какой-то другой сенатор. Когда они переходили через площадку перед сенатом, здоровенный негр, спешивший с каким-то поручением, сбил с ног зазевавшегося мальчишку, который с криком покатился к ногам Сенеки. Правитель властителя мира поднял его, сказал ему несколько ласковых слов и дал какую-то монету. Его спутник смотрел на эту сцену с презрительным удивлением.

Но у Юдифи сердце дрогнуло от радости; она подбежала к великому философу и государственному человеку и бросившись перед ним на колени, прижала к губам его тогу.

VI

Сенека был римлянин, и, подобно всем римлянам, относился с презрительным равнодушием к обычаям и нравам других рас. Правда, он удивлялся независимому характеру германцев и признавал литературные и философские способности греков. Но при всем свободомыслии, он, как и все его соотечественники, думал, что родиться римлянином значило получить право презирать все остальное человечество.

К евреям римляне питали особенное презрение. Ненависть между этими народами возникла еще в ту эпоху, когда пунические корабли опустошали латинские берега: соотечественники Сенеки считали евреев близкими родственниками финикийцев, сохранившими всю их низость, но не разделявшими славу Тира и Карфагена.

Сенека был предубежден против евреев. Стремясь расширить свое образование, он прочел между прочим и некоторые из их философских и исторических книг.

Многие выдающиеся римляне того времени, стремясь заменить какой-нибудь новой системой детскую мифологию древней веры, относились к еврейской религии с некоторым одобрением. Но Сенеке не нравилась положительная и оптимистическая основа еврейской философии. Она шла вразрез с его понятиями о разумном и истинном. А между тем с проникательностью литературного и философского гения он замечал инстинктивное стремление римлян именно к такой философии. Его эклектический стоицизм, казалось ему, гораздо больше подходил к потребностям человечества, и он с досадой думал, что истерические, распущенные азиаты могут совратить римлян с пути здоровой философии.

Сенеке очень не нравился еврейский ритуал, тем более что его сведения о нем были неполны и неточны. Их главные обряды казались ему достойными только грязных азиатов. Да и сами евреи казались ему грязными телом, с дикой моралью, с нелепой философией.

Юдифь, разумеется, не знала ничего этого, когда преклонила перед ним колени и поцеловала его платье.

– Сенека, как истый римлянин, ненавидел низкопоклонство и, вырвав у нее тогу, спросил суровым тоном:

– Кто ты и зачем становишься на колени передо мною?

– Я дочь Иакова, еврея, живущего среди язычников, – отвечала она, – я умоляю тебя о сострадании.

– Еврейка! – воскликнул Сенека и, впадая в обычную в Риме насмешливость, прибавил – Зачем может понадобиться мое сострадание такой очаровательной девушке?

Юдифь вскочила на ноги и гордо взглянула на него.

– Я слыхала, – воскликнула она, – что среди римских варваров есть один мудрый и добрый человек! Но меня обманули!

Сенека, улынувшись от сконфуженности, возразил:

– Немногие из представительниц твоего пола рассердились бы, если б кто-нибудь назвал их очаровательными. И, – прибавил он ласково, – может быть, еще меньше найдется таких, к которым бы это слово так подходило. Впрочем, я жалею, что пошутил. Скажи же, зачем ты требуешь моего сострадания или, лучше сказать, моей помощи, потому что без помощи нет истинного сострадания.

Манеры Сенеки подкупали. Он не напускал рассеянного вида, как многие философы. На каждого, кто с ним говорил, он производил такое впечатление, как будто предмет разговора возбуждал в нем величайший интерес.

При этом его глаза были так ясны, улыбка так приятна, голос так музыкален, что даже Нерон не мог противостоять его влиянию.

Он выслушал с серьезным вниманием рассказ девушки.

Когда она кончила, он спросил, слегка улыбаясь:

– И этот центурион...

– Мой друг, – отвечала Юдифь, взглянув прямо в глаза Сенеке.

Он слегка покраснел: еврейская девушка пристыдила философа.

– Бедное дитя! – сказал он. – Но я не знаю, что делать.

В нем была странная смесь решительности и нерешительности.

Когда опасность была явна – например, когда Нерон находился в припадке свирепости, он действовал с удивительной быстротой и энергией. Но при отсутствии такого стимула Сенека часто обнаруживал слабость и нерешительность.

Юдифь бросила на него умоляющий взгляд.

– Тит сам говорил мне, – сказала она, – что ты правитель мира. Неужели правитель мира не может спасти жизнь простого воина?

Сенека поспешно ответил:

– Я не правитель мира, и тот, кто желает мне добра, не должен называть меня так даже наедине с самим собой, когда двери заперты и те, кто мог бы подслушать, погружены в сон. Я рад был бы помочь тебе. Возмутительно, что в этом городе, который по справедливости гордится своим порядком и законами, пьяные гуляки могут оскорблять и убивать людей. И все-таки я не знаю, что делать! Может быть, его уже ведут на казнь.

Юдифь вскрикнула и схватила руку сенатора:

– Поспеш же к Цезарю и требуй правосудия. Все говорят, что Рим управляется рукой Нерона и головой Сенеки. Неужели ты заклеишь себя участием в преступлении! Все говорят, что ты справедлив... Как может справедливость соединяться с трусостью!

Упрек подействовал.

– Ты права, девушка, – сказал он решительным, резким тоном, – ты права. Жизнь какого-то воина не важная вещь, и девическая любовь не должна влиять на государственного человека. Но справедливость и порядок слишком важны; нарушение их не должно остаться без протеста и, если возможно, исправления. Не знаю, удастся ли мне спасти его, но, во всяком случае, попытаюсь.

Он повернулся и пошел вниз по Форуму в сопровождении девушки. Немногие из его современников решились бы доставлять такую пищу сплетням. Он сам пострадал от них в юности; молва связала его имя с именем одной из представительниц императорской фамилии, и Тиверий отправил его в ссылку. Теперь, когда он был стар, римские остряки уверяли, что в число его обязанностей входит не только воспитание и руководство Нерона, но и утешение овдовевшей Агриппины. Он был очень чувствительный человек для римлянина, но громадная власть, которой он пользовался, естественное достоинство, а главное – философия помогали ему равнодушно относиться к злобному жужжанию окружающих.

На Форуме им встретила группа сенаторов. Сенека не мог не заметить их иронических взглядов, когда они раскланялись с ним. Он отвечал с обычной вежливостью и потом, как бы подчеркивая свою любезность, обратился к Юдифи и заговорил с ней. Его главной слабостью было стремление позировать: он часто поднимал голову выше, чем обыкновенно, тогда как более скромный человек благоразумно держал бы ее на обычном уровне.

Сенека и Юдифь перешли Форум, повернули и поднялись на Палатин. Перед ними возвышался великолепный дворец Цезаря.

Они вошли в обширное помещение, украшенное рядами статуй членов семьи Юлия и Клавдия. Широкая мраморная лестница вела в атриум, куда Сенека и его спутница прошли мимо группы стражников у подножия лестницы и толпы нубийских рабов, стоявших у фонтана в центре атриума и следивших за теми, кто входил во дворец. Стражники приветствовали Сенеку, а рабы поклонились ему почти до земли.

Несмотря на мучительное отчаяние, наполнявшее ее душу, Юдифь не могла не обратить внимание на окружавшее ее почти варварское великолепие. В доме ее отца было немало золота и драгоценных камней: но сюда, как ей показалось и как было на самом деле, стеклись все богатства мира. Массивная золотая статуя самого Нерона возвышалась на пьедестале из блестящей белой яшмы; ладони его рук были обращены наружу, и гордая фигура, казалось, говорила входящим в атриум так ясно, как только может говорить скульптура: «Все это мое!» Алебастровые колонны поддерживали потолок, разукрашенный золотом и слоновой костью, а коринфские капители, отделенные от колонн полосой черного дерева, были из золота. На каждой стороне табулиума было квадратное пространство, на котором не блистали золото или драгоценные камни, по рука великого мастера изобразила вакхические танцы. От колонн потолок поднимался в виде изящного свода, окрашенного в небесно-голубой цвет краской, купленной за огромные деньги в Александрии; на нем в виде звезд были разбросаны рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды.

Родина Юдифи была на Востоке, где небо ярче, кожа желтее и страсти сильнее, чем в Риме; и украшение дворца возбудило в ней волнение такое же, как волнение грека при виде божественной чистоты контуров и линий.

Они вошли в коридор, примыкавший к атриуму, и, пройдя несколько пустых комнат, вышли на широкую террасу, возвышавшуюся над садом и искусственным озером. Здесь, на ложе, помещенном так, чтобы легкий ветерок доносил до него благоухание сада, лежала, Актея. Она защищала лицо от солнца опахалом из павлиньих перьев, и ее смеющийся голос раздавался на террасе, когда Сенека и Юдифь подошли к ней.

Она разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей на резном кресле из черного дерева. Лицо Сенеки просветлело, когда он увидел собеседницу Актеи, которую называл, здороваясь с ней, Паулиной.

Паулина была хорошо известна заправилам римского мира как начальница весталок, корпорации, пользовавшейся большим влиянием на государственные дела и сохранившей много старинных привилегий. Ей было под сорок лет, но ее величавая красота принадлежала к тому типу, который достигает расцвета только в зрелых годах. Девочкой она, вероятно, была неуклюжа; но теперь это была пышная, величественная женщина. Голова ее со светлыми золотистыми волосами, заплетенными в косы, широким низким лбом, серыми глазами, прямыми бровями, полными губами и резким круглым подбородком гордо сидела на полных плечах; она была высокого роста с крупными, но не тучными формами.

С раннего возраста, когда она была посвящена служению при храме, она освоилась с государственными делами; ее образование, высокий сан и естественные дарования придавали ей важный, почти надменный вид.

– О, Сенека! – воскликнула Актея, глаза которой блестели детским злорадством. – Слышал ли ты о ночных похождениях Цезаря? Говорят, будто какой-то центурион отколотил его за то, что он поцеловал его возлюбленную. Это плата за мой синяк.

– Где Цезарь? – спросил Сенека с беспокойством.

– Храпит на куче подушек среди пустых кубков и чаш, – отвечала девушка.

– Пора разбудить его! – сказал Сенека.

– Зачем? – возразила она. – Во сне он по крайней мере никому не делает вреда. Да и кто возьмется разбудить его? Не я и не ты; мы знаем, каков он бывает с похмелья.

– У меня есть дело до него, – сказала Паулина, – но, разумеется, будет благоразумнее не будить его.

Актея с любопытством смотрела на Юдифь.

– Кто это, Сенека? – спросила она и прибавила, обращаясь к Юдифи: – Поди сюда!

Юдифь откинула покрывало и подошла к ложу. Она воспитывалась в правилах еврейской морали, совершенно непохожей на римскую. Она знала, какую роль играет Актея в доме Нерона, и губы еврейки искривились презрением, когда она взглянула на этого греческого мотылька. Сенека и Паулина не поняли бы ее презрения, если бы даже она высказала его. В глазах государственного человека и весталки Актея была хорошенькой девушкой, очень полезной вследствие своего влияния на Нерона и их влияния на нее. Что касается самой Актеи, то она не заботилась о вопросах отвлеченной морали и знала только, что она – любимица императора, когда он был трезв, и баловень римского общества. Но Юдифь невольно отшатнулась, когда расшитое золотом легкое покрывало Актеи, подхваченное ветром, коснулось ее.

– Зачем Сенека привел тебя? – спросила Актея, слегка нахмурившись и всматриваясь в нее, как только женщина может всматриваться в другую женщину.

Юдифь коротко рассказала свою историю холодным и сухим тоном. Для нее было пыткой произносить имя Тита перед этой женщиной.

Выслушав рассказ, Актея воскликнула:

– Так ты девушка, которую поцеловал Цезарь!

– Он не целовал меня, – гордо возразила Юдифь.

– Ну, хотел поцеловать. Знаешь, я готова простить ему это, потому что ты почти так же хороша, как я. Да, – прибавила она, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо Юдифи, – я думаю, что ты совершенно так же хороша. Мне очень жаль тебя и твоего милого.

Надежда долго поддерживала мужество Юдифи, но теперь уступила место внезапному порыву отчаяния. Она судорожно заломила руки, слезы хлынули из ее глаз, и она обратилась с немой, но красноречивой мольбой к Сенеке.

Своенравие ребенка соединялось в Актее с чувствительностью ребенка. Она вскочила со своего ложа, обвила руками Юдифь и сказала:

– Бедняжка! Это ужасно! Это ужасно! У меня тоже был милый в Самосе. – Печальная нотка прозвучала в ее голосе. – Полно, не плачь, – продолжала она, – Цезарь не всегда в дурном расположении духа. Разбудим его, Сенека? Нужно спасти ее возлюбленного.

– Он вовсе не мой возлюбленный, – прошептала Юдифь.

– Нет? – сказала Актея. – Почему же ты плачешь и ломаешь руки? Если он так глуп, что не любит тебя, то я не стану хлопотать за него.

– О, любит, любит! – вскричала Юдифь.

– Он любит тебя, и он не твой любовник. И ты плачешь о нем и просишь спасти его. Я не понимаю этого, но все-таки я думаю, что мы должны разбудить Цезаря.

Она дала знак Сенеке следовать за нею и пошла по террасе, когда Паулина, – холодно слушавшая разговор девушек, подозвала Сенеку.

Он подошел к креслу, и она сказала ему так тихо, чтобы только он мог слышать ее:

– Неужели Сенека будет подвергать опасности надежды всех честных римлян ради хорошенького личика?

Он отвечал с упреком:

– Неужели Паулина думает... – остановился в затруднении.

Его серые глаза продолжали пристально смотреть на нее, и она возразила:

– Паулина думает, что Сенека слишком мягкосердечен для государственного человека. Вспомни, – продолжала она, – что Нерон ищет предлога лишить, тебя власти и даже жизни, и на тебе сосредоточены надежды всего, что есть лучшего в Риме.

– Я помню об этом, – сказал он, – но было бы в высшей степени несправедливо допустить казнь этого человека.

– Где он? – спросила она: задумчиво.

– В Мамертинской тюрьме, – отвечал Сенека.

Она бросила на него многозначительный взгляд и громко сказала:

– Будить Цезаря скорее вредно, чем полезно. – И оставила террасу.

– Пусть Цезарь спит, – сказал Сенека Актее. Затем, обратившись к плачущей Юдифи, прибавил – Ступай домой, девушка, может быть, еще есть надежда...

VII

Паулина шла своей мерной походкой по Палатину; впереди нее – ликтор расчищал дорогу, так как начальники, государственные люди, – знатные и плебеи – все должны были уступать путь весталкам. Девушки, поддерживавшие священный пламя, давно уже оставили свое затворничество; их орден накопил с течением времени огромные – богатства, и его члены мало-помалу заняли выдающееся положение в общественной жизни Рима... Их древние права, личная неприкосновенность и, может быть, добросовестность, с которой почти все они соблюдали свой обет, усиливали влияние, доставляемое богатством.

Под управлением Паулины, честолубие которой было ненасытно и хитрость равнялась разве только упорству, коллегия весталок сделалась настоящим, центром политической

интриги. Это учреждение было одним из древнейших и достойнейших в городе. В эпоху, когда римский сенат превратился в раболепное орудие императоров, а императоры, в свою очередь, в игрушку отпущенников, рабов и женщин, искра старого римского духа еще тлела на алтаре Весты.

Жажда власти и страсть повелевать были главными чертами характера Паулины. Ей было приятно сознавать, что знатнейшие люди Рима должны уступать ей дорогу; она радостно всходила на священные ступени вслед за верховным жрецом для ежемесячной жертвы, зная, что вокруг нее сосредоточились все лучшие традиции римской жизни и что под ее охраной находилось все, что уцелело от крушения римской веры.

Около тридцати лет прошло с тех пор, как Паулина, на шестом году жизни, была посвящена служению Весты. Через несколько месяцев ее служение должно было кончиться, ее обеты считались исполненными, и ей предстояло или вернуться в мир, или остаться служить в том храме, над которым она владычествовала.

Смутные мечты, долго носившиеся в ее воображении, принимали теперь почти определенную форму.

Ее дорога с каждым днем становилась шире; она лелеяла гордую мысль, что почтение народа к ее сану будет перенесено на нее самое, когда она навсегда расстанется с белой одеждой весталки.

Когда она спускалась с Палатина, ей вспомнились смущение Сенеки, его покорность, и улыбка скользнула по ее надменным чертам.

Паулина дошла до рощи, окружавшей круглый храм Весты, где она жила с остальными жрецами. Она прошла в ворота и, пройдя через рощу, вошла в храм с заднего хода. Минуту спустя она вышла из храма в сопровождении ликтора через передние двери и стала спускаться по ступенькам лестницы, ведущей к Форуму.

Весталка направилась к Капитолию. Толпа празднующихся и торговцев почтительно расступилась перед нею: они признавали и уважали римскую доблесть суровой девы. Еще не все моральные и гражданские добродетели сделались предметом насмешки народа.

Но избалованное население Рима в большинстве состояло из неисправимых бездельников.

Слава, а еще более благосостояние столицы мира опьяняли их. Благосклонное государство кормило лентяев, и десятки тысяч здоровых людей без зазрения совести жили ежедневной раздачей бедным.

Тысячи бездельничали на службе у богатых патронов. Развращенные возбуждающими зрелищами в амфитеатре, в цирке, они, как дети, гонялись за самыми пустыми развлечениями. Собака, забежавшая на Форум, или неистовство пьяного раба могли прервать все дела и собрать огромную толпу, веселую и буйную, как школьники, вырвавшиеся из школы.

Когда Паулина выходила на Форум, шумное возбуждение царило в толпе, собравшейся перед Мамертинской тюрьмой. Хриплый смех, насмешливые восклицания, аплодисменты, шутки сыпались со всех сторон. Мясники в балаганах на нижнем конце площади вытягивали шеи и расспрашивали прохожих о причине шума. Некоторые бросили свои лавки и бежали к тюрьме, вокруг которой собиралось все больше и больше народа.

– Пойдем, отец! – кричал какой-то мальчик, мчась во весь дух к старику, прислонившемуся к ростре, который вместе с очень немногими оставался спокойным среди общей суматохи. – Пойдем, сейчас поведут центуриона, который надавал пинков Цезарю; его распнут на Яникулуме. Пойдем скорей, там такая толпа, какой я никогда не видывал.

– Центурион надавал пинков Цезарю! – сказал старик, лениво шагая по Форуму. – Это, конечно, выдумка; с какой стати он станет колотить славнейшего, божественного Цезаря? – Усмешка тронула губы старика.

– Говорят, – отвечал мальчик, нетерпеливо дергая отца, – будто Цезарь поцеловал его любовницу и был бы убит, если б не рабы.

– Мне бы хотелось взглянуть на этого воина, я не думал, что еще остался такой римлянин. Распять прирожденного римского гражданина! – воскликнул старик. – Да это должно было бы камни побудить к восстанию!.. Во времена Мария один сенатор, заметь, сенатор из партии Суллы, сказал грубость твоей прабабке. Твой прадед пожаловался старому Марию, и сенатор был убит на улице, а его земли, имущество, рабы отданы народу. Но теперь нет более римлян; Рим превратился в псарню.

– Да ну тебя, с твоим старым Марием! – закричал мальчик. – Пойдем скорей, или мы все презеваем!

* * *

Когда к Титу вернулось сознание, он увидел, что лежит на каменной скамье в темном и незнакомом месте с тяжелым, сырым воздухом. Он хотел встать, но обе руки оказались прикованными к чьим-то чужим рукам. Он стал собираться с мыслями. Мало-помалу он вспомнил происшествие в доме Иакова и, чувствуя сильную боль в голове, догадался, что кто-то нанес ему удар сзади. Он подумал, что воры – он ни на минуту не сомневался, что это были воры, – унесли его в свой притон. Но когда наступило утро и слабый свет проник в темницу, он убедился, что люди, к которым он был прикован, стражники. Он вскочил, заставив их тоже подняться.

– Что это значит? – крикнул он с негодованием. – Где я и почему на мне эти цепи?

Держать в цепях молодого офицера преторианской гвардии доставляло злобное удовольствие стражникам. Но дисциплина была в них так сильна, что повелительный голос центуриона тотчас укротил их.

– В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря, господин, – отвечали они.

– В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря? – повторил ошеломленный центурион. – За что?

Один из стражников засмеялся, но Тит схватил его за руку и сдвинул ее так сильно, что тот вскрикнул от боли.

– Отвечай, собака! – крикнул центурион. – За какое преступление я сижу здесь?

– Твоя милость сбросила божественную особу Цезаря с лестницы, – отвечали оба стражника и расхохотались.

– Нерона? – вскричал Тит вне себя от изумления.

– Да, господин! – отвечали они, – Цезаря и славнейшего Тигеллина.

Тит упал на скамью, и стражники отнеслись с уважением к его горю. Может быть, они догадались, что он сокрушается не о себе. Нерон видел Юдифь, хотел похитить ее. Центуриону вспомнилось ее пророчество! «Один, путь исчезает во мраке, другой ведет к подножию, трона».

Наконец римский стоицизм одержал верх.

– На Яникулуме? – спросил он спокойно.

– Да, господин, – отвечали они.

– Когда?

– В полдень.

После этого он сидел молча и неподвижно до тех пор, пока солнце поднялось высоко и лучи его заглянули в узкое окно в потолке тюрьмы. Вошел офицер с отрядом охраны, и минуту спустя Тит, по-прежнему прикованный к своим тюремщикам, вышел на Форум.

Легкое чувство стыда невольно зашевелилось в нем, когда он увидел шумную чернь, толпившуюся на Форуме и на ступеньках храма Согласия, оттесняя сенаторов, которые под предлогом надзора тоже тешили свое праздное любопытство.

Он был воином и всегда считал себя выше неорганизованной, беспорядочной массы. И вот он выведен на потеху толпы. Сама по себе смерть его не пугала. Тысячи римлян прошли на Яникулум до него, рано или поздно надо было умереть; а когда и как, не все ли равно. Но умереть на забаву для толпы было мучительно. Кто-то в толпе крикнул: «Ко львам! Ко львам!» Да, он служил бы таким же точно развлечением для народа в амфитеатре, как и на Яникулуме; Если бы Цезарь прислал ему кинжал, его рука не дрогнула, и он умер бы совершенно спокойно. Было тяжело умирать среди насмешек толпы, гудевшей вокруг него.

Их путь лежал через священную дорогу. Здесь толпа сгустилась до такой степени, что проход для осужденного и стражи становился все более и более затруднительным. Офицер, командовавший отрядом, был коротенький и толстый; из толпы слышались насмешки.

По команде начальника стража направила вперед щиты, и, выстроившись клином, оттеснила толпу. Солдаты колотили всех встречных рукоятками, своих коротких копий.

После минутной остановки шествие двинулось дальше, и Тит вышел на священную дорогу, когда толпа, находившаяся впереди, раздалась по обе стороны, стражники остановились и расступились, и Тит увидел перед собой величавую фигуру весталки Паулины. Толпа снова обступила их, но в ней воцарилось гробовое молчание.

Порыв удивления и надежды потряс все существо приговоренного к смерти, и он бросил на весталку взгляд, полный жаркой мольбы.

Но он не встретил ответа в холодных глазах весталки.

– Кто ваш начальник? – спросила она у стражников.

– Я начальник, – отвечал толстый воин, подходя к ней. – Я веду этого человека на казнь. Зачем ты задерживаешь нас?

Весталка выпрямилась и отвечала громким голосом, далеко разносившимся в толпе:

– Я, Паулина, девственная жрица Весты, милую и освобождаю этого человека, приговоренного к смерти.

– Помилование! Помилование! – раздалось в толпе, и ветреная чернь, за минуту перед тем жаждавшая увидеть, как обезглавят или, как надеялись некоторые, – распнут этого человека, теперь громко выражала свою радость по поводу вмешательства весталки.

Весталки с самых древних времен пользовались правом прощать преступника, случайно встреченного по пути на казнь; но этот обычай, как и многие другие, вышел из употребления, и его забыли. Паулина, видевшая в старых привилегиях некоторый противовес возрастающей власти цезарей, возобновила его и пользовалась им при всяком удобном случае: в настоящую минуту ей доставляло особенное удовольствие помешать мести Нерона.

Толстый офицер стоял разинув рот от изумления и не зная, что делать.

Паулина резко повторила свое приказание:

– Сними с него цепи!

– Но что же я скажу Цезарю? – возразил он.

– Если ты будешь медлить, тебе придется говорить с Плутоном! – гневно отвечала она.

Смущенный солдат видел, что она права. Толпа уже заволновалась. При всем упадке национальной веры и обрядов весталки еще сохранили власть над народом. Циничное остроумие, не щадившее самого верховного жреца, не осмеливалось направлять свои стрелы против охранительниц священного огня; и деспотическая власть императоров не могла бы защитить того, кто решился оскорбить весталку.

Послышались гневные крики:

– Долой его! Он не слушается весталки! Убьем безбожника!

Маленький отряд сомкнул щиты наподобие ограды, и даже в эту решительную минуту Тит не мог не восхищаться их непоколебимым мужеством и дисциплиной. Впрочем, вся их храбрость не привела бы ни к чему, если б Паулина, подняв руки кверху, не остановила толпы.

– Снимите с него цепи! – повторила она, и толстый офицер, видя, что ничего больше не остается делать, повиновался и освободил руки и ноги пленника.

Воины сомкнулись вокруг своего начальника, повернулись и пошли обратно к Мамертинской тюрьме. Вдогонку им посыпались насмешки толпы, умолкнувшие не раньше, чем последний стражник скрылся за тюремным валом.

Тит стоял перед своей избавительницей.

– Следуй за мной! – сказала она, и они пошли вниз по Форуму, предшествоваемые ликтором.

Толпа уже нашла себе новое развлечение. Два мясника побились об заклад: один говорил, что центурион будет обезглавлен, другой – что его распнут.

– Я выиграл, – сказал первый. – Его не распяли.

– Я выиграл, – отвечал второй. – Ему не отрубили голову.

От слов они перешли к драке, и толпа с хохотом окружила бойцов.

Через пять минут Тит и его неожиданное помилование были забыты и на площади стоял гул от насмешек, ругательств и ударов.

Паулина остановилась под портиком храма Весты, и центурион принялся благодарить ее.

Она остановила его жестом и сказала:

– Ты обязан благодарностью за спасение своей жизни не мне, а Сенеке.

– Я пойду и поблагодарю его! – воскликнул Тит.

– Не трудись, – отвечала весталка, – слова для мудрого то же, что ветер, который пахнет на его лицо и мчится дальше. За услугу нужно платить делом, а не словами. – Она остановилась и, пристально взглянув в лицо центуриона, сказала торопливым тоном: – В наше время никто не может пренебрегать дружбой, даже Сенека при всем своем могуществе и богатстве, может быть, будет когда-нибудь иметь нужду в дружбе простого центуриона. Ты видишь, я доверяю тебе. – Она ласково улыбнулась. – Согласен ли ты быть другом Сенеки?

– Клянусь! – горячо воскликнул Тит.

Она хотела войти в храм, но он остановил ее.

– Почему же Сенека вздумал спасти мне жизнь?

– Опроси об этом у еврейки, которая была с ним со дворце Цезаря сегодня утром, – отвечала она.

– Юдифь во дворце Нерона? – воскликнул Тит с ужасом.

Весталка с любопытством взглянула на него, потом дотронулась до его руки и шепнула ему на ухо:

– Глупый, разве у тебя нет меча, чтобы отомстить за свою любовь?

Затем она скрылась в храме, оставив его в оцепенении.

Опомнившись, он пустился со всех ног к дому Иакова.

Но здесь, к его удивлению, старый привратник загородил ему дорогу; он оттолкнул его и вошел в атриум, громко призывая Юдифь.

Вместо дочери его встретил отец.

– Где Юдифь? – крикнул центурион.

– Моя дочь под кровом своего отца, – отвечал Иаков, – но я не знаю, какое тебе дело до этого. Я не желаю, чтобы ты вмешивался в мои или ее дела. Я смиренный римский гражданин и не желаю принимать в свой дом беспокойных людей, которые поднимают святотатственную руку на священную особу императора.

Он говорил громко, так, чтобы рабы, прислушивавшиеся, наострив уши, могли слышать его. Затем он вытолкнул вон Тита, который машинально повиновался, и запер за ним дверь.

Тит как оглушенный побрел к себе в преторианский лагерь, но у ворот его остановил раб в императорской ливрее и с поклоном сказал ему:

– Цезарь желает говорить с тобой во дворце, господин.

Тит машинально повернулся и пошел за ним.

VIII

Был уже почти полдень, когда Нерон проснулся. Он чувствовал себя очень скверно: разбитым, тупым и не в духе. Голова трещала, тело казалось слишком тяжелым, чтобы держаться на ногах. Весь организм громко протестовал против ночных кутежей. Он с трудом приподнялся, отыскал чашу, в которой еще оставалось немного вина, и хлебнул несколько глотков. Крепкий налиток оживил его, и искра сознания блеснула в его отупелых глазах, когда он декламировал апологию пьяницы из Горация;

Возлюбивший мудрость Сократа
Может еще больше любить вино;
Разве божественный Катон
Не поддерживал вином свою доблесть.

Он побрел в свои апартаменты, умылся, переоделся и после безуспешной попытки проглотить хоть немного пищи отправился на террасу и сел на кресле рядом с Актеей. Он положил голову на ее плечо, и его покрытое пятнами лицо казалось уродливее на ее белой коже, чем когда-либо.

Актея была в кротком настроении духа. Она взяла руку императора и задумчиво играла его пальцами. Легкий ветерок убаюкивал его; он сонливо прислушивался к плеску фонтана и щебетанию птиц на деревьях.

Нерон каялся. Он всегда каялся по утрам. Его обычное распределение занятий было таково: вечером грешит, утром раскаивается, а после полудня готовится к новым грехам. Утреннее сокрушение искупало вечерние безобразия.

В своем утреннем расположении духа он любил, чтобы его бранили за дурное поведение. Человеческая натура всегда находила источник приятного возбуждения в сознании собственной испорченности. Ничто так не облегчает душу и не льстит гордости, как ласковые увещания друга, который смотрит на ваши проступки сквозь сильно увеличивающие моральные очки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.